

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Кукулин И.В.

**Изменение представлений о политическом сообществе
в СССР времен «холодной войны»
и их влияние на советскую культуру**

Москва 2018

Аннотация. История «холодной войны» очевидным образом связана с политикой изоляционизма – особенно если говорить об СССР. Однако до сих пор недостаточно изучен вопрос о том, как советский изоляционизм влиял на культуру и каковы были его ментальные основания – в частности, в чем изоляционизм времен «холодной войны» был похож и в чем непохож на «политику осажденной крепости», которую руководители ВКП (б) проводили, начиная со второй половины 1920-х годов, после того, как было принято стратегическое решение о «строительстве социализма в отдельно взятой стране». Эта статья обсуждает специфику советского изоляционизма, основываясь на двух методологических подходах: изучение правительности (governmentality) и дискурсивных границ сообщества – в данном случае, «воображаемого сообщества» СССР. На этом уровне рассмотрения становится видно, что ментальные структуры, порожденные во времена «холодной войны», не только оказали большое воздействие на советское социальное воображение, но продолжали влиять на постсоветскую российскую культуру и после ее окончания. В качестве материала для анализа выбран цикл романов Сергея Лукьяненко о «дозорах» -- один из самых успешных проектов в российской массовой культуре 1990—2000-х годов.

Abstract. History of the Cold War is obviously connected with tendencies of isolationism, especially if speaking of the USSR. However, one may suppose that there is an important but underresearched aspect of the Soviet isolationism: namely, how it influenced cultural dynamics in the USSR and what were its mental foundations taken for granted; particularly, one needs to discuss what were the main similarities and differences between “cold war” isolationism and policy of a “besieged fortress” that was realized in the USSR starting with the late 1920s. This paper is focused on the traits and historical evolution of the Soviet isolationism basing on the two methodological approaches: studies of governmentality and study of imagined community’s discursive borders, in other words, the Soviet isolationism is studied here as a specific type of social and political imagination. If revisiting the Soviet practices of isolationism on this level, one can see that mental structures caused by the Cold War considerably informed Soviet social imagination and remain to be influential in the post-Soviet culture. This conclusion is founded with a short discussion on Sergey Lukianenko’s series of fantasy novels on “Watches” (1998--2004), one of the most successful projects in the post-Soviet mass culture.

Кукулин И.В. старший научный сотрудник лаборатории историко-культурных исследований ШАГИ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2017 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Изоляционизм как эпистема	4
2. Изоляционизм и «холодная война»: соотношение понятий.....	5
3. «Холодная война» как контрмодернизация	10
ЛИТЕРАТУРА.....	23

Эта статья не могла бы быть написана без бесед и переписки в социальных сетях с Василием Гатовым, которому я приношу глубокую благодарность.

1. Изоляционизм как эпистема

История «холодной войны» изучена довольно хорошо¹; ее влияние на культуру СССР и его стран-сателлитов обсуждалось также неоднократно (из недавних работ см. [Тихомиров 2014]; [Mazierska 2016] и ряд статей в сборнике [Fainberg, Kalinovsky 2016]). Существуют минимум два научных периодических издания, специально посвященные истории этого периода – «Cold War History» и «Journal of Cold War Studies». Есть превосходные работы историков, специализирующихся на изучении «холодной войны», -- например, Джона Гэддиса [Gaddis 1997]; [Gaddis 2005a]; [Gaddis 2005b]. Однако есть проблема, которая остается, на мой взгляд, недостаточно изученной, несмотря на обилие публикаций. Это влияние «холодной войны» в СССР на сферы культуры, прямо не связанные с международной политикой. Изучение этого вопроса началось в 2000-е годы и интенсивно продолжается сегодня -- см., например, уже упомянутый выше сборник под редакцией Эвы Мазирской, а также работы [Reisch 2005]; [Barnhisel 2015] и другие. По-видимому, важную роль в дальнейших исследованиях может приобрести изучение того, как под влиянием «холодной войны» в СССР изменились представления о «воображаемом сообществе» и функционирование «правительности» (governmentality).

Понятие «правительности» впервые ввел Мишель Фуко в 1978 году в курсе лекций «Безопасность, территория, население» [Фуко 2011]. Этот термин отсылает к идее «ментальности», разработанной в школе «Анналов». В целом правительность может быть определена как совокупность форм и базовых предпосылок, на основе которых представители определенного сообщества думают об управлении [Фуко 2011]; [Miller, Rose 1990]; [Дин 2016: 84]. Митчелл Дин специально оговаривает, что ментальность в этой концепции не связана с рациональностью: «мышление – коллективная деятельность, и дело не в представлениях коллективного разума или сознания, а в совокупностях знаний, убеждений и мнений, в которые мы погружены» [Дин 2016: 85]. Представления о воображаемом сообществе не менее важны, чем «предмнения» (Vormeinung, термин Х.-Г. Гадамера [Гадамер 1988]) или «эпистемы» (термин Фуко) правительности. «Предмнения» о воображаемом сообществе, структурирование дискурса, на котором можно говорить о

¹ Краткий обзор историографии «холодной войны» до 2005 года см., например, во вступительном разделе статьи: [Cox, Kennedy-Pipe 2005].

сообществе, скрыто определяют границы того, о чем имеет смысл в данном сообществе говорить публично, а о чем говорить опасно или что будет признано бессмысленным [Морозов 2009]. Как пишет Вячеслав Морозов, в 2000-е годы в публичной риторике в России вполне было возможно и допустимо говорить о том, что «Россия – часть Европы», но слова «Россия – часть Запада» показались бы значительному числу политических акторов вызывающими, парадоксальными или бессмысленными. Различие же между этими, в некоторых отношениях, синонимичными конструкциями лежит ниже уровня определений, в сфере «предмнений» или «эпистем», которые – пока они не «просвечены» рефлексией – скрыто влияют на структурирование представлений о мире.

За последнее время прозвучало минимум два призыва изучать советскую правительственность. Митчелл Дин упомянул об этой задаче в предисловии к русскому изданию своей книги [Дин 2016: 33], а Майкл Дэвид-Фокс обозначил ее как одну из самых насущных в своем докладе, сделанном в 2017 году на семинаре Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Существует важнейшая установка, определявшая культурные стратегии «холодной войны» в СССР и основанная на «совокупностях знаний, убеждений и мнений, в которые мы погружены» -- изоляционизм. Изоляционизм времен «холодной войны» -- ментальная установка, «эпистема», соединяющая в себе правительственность и представления о границах сообщества. Задача этого текста – поставить проблему о влиянии на советскую культуру изоляционизма, понятого именно в этом смысле – не как системы политических мер (policy), уже относительно изученной (см., например, [Дружинин 2012]; [Эплбаум 2015]), а как системы общих представлений о мире, влияющих на различные аспекты культуры, науки и общественной жизни.

2. Изоляционизм и «холодная война»: соотношение понятий

В узком смысле изоляционизм – это политика полного «закрывания» страны от внешнего мира и невмешательства в дела других государств, подобной стратегии «сакоку» (в дословном переводе – «страна на цепи»), которой японские сёгуны последовательно придерживались более двух веков -- в 1641—1853 годах (см. об этом, например [Laver 2011]) – или, если говорить о современном мире, о стратегии в стиле руководства Бирмы до начала 2010-х годов, Албании до 1991 года или Северной Кореи – вплоть до настоящего

момента [Turku 2009]. Изоляционизм, однако, можно понимать и в более широком смысле – как политику руководства СССР, стремившихся максимально контролировать контакты граждан страны с внешним миром и проникновение любых внешних влияний в страну (как это стремление реализовалось в организации пограничной службы, анализирует в своей книге Андреа Чэндлер [Chandler 1998]) – и в то же время нацеленных на постоянную внешнюю экспансию и контроль стран-сателлитов, иногда довольно мелочный. В англоязычной историографии обычно считается «изоляционистским» только период до смерти Сталина, а время после него исследователи характеризуют как «конец» этой эпохи [Rupprecht 2015]. Тем не менее, несмотря на интенсивное развитие международных связей СССР и поездки тщательно отобранных советских граждан за границу в 1950-х—1980-х годах, политика СССР сохраняла некоторые фундаментальные черты – прежде всего, жесткую монополизацию контактов с другими странами, которые могли осуществляться только с санкции и под контролем спецслужб; слежку за находящимися в СССР иностранцами; глушение западных радиостанций и иные формы блокирования нежелательной информации из других стран. Поэтому, в отличие от Тобиаса Руппрехта (и соглашаясь с Андреа Чэндлер), мы считаем, что политика СССР не переставала быть изоляционистской до самого краха этого государства, но в некоторые эпохи этот изоляционизм то усиливался, то ослаблялся, становясь фрагментарным, «продырявленным».

Изоляционизм становилось все труднее поддерживать в мире, где государства все сильнее зависели друг от друга [Keohane, Nye 2011]. С другой стороны, изоляционистские тенденции ограничивали развитие этой взаимозависимости противостоящими друг другу военно-политическими блоками, хотя такие ограничения никогда не были абсолютными [Bazin, Dubourg, Piotrowski 2016].

В послевоенное время, с 1945 до конца 1980-х годов, важнейшим фактором, определявшим эволюцию советского изоляционизма, была «холодная война».

В исторической науке «холодная война» изучается прежде всего как противостояние сверхдержав – СССР и США – явным образом начавшееся в 1946 году, после предъявления Советским Союзом территориальных претензий Турции, иранского кризиса и Фултонской речи У. Черчилля. Однако начало было положено раньше – по мнению А.М. Шлезингера-младшего, основа «холодной войны» была заложена во время переговоров СССР с

западными союзниками в 1943—44 годах, когда было принято решение о фактическом разделе послевоенного мира на сферы влияния [Шлезингер-младший 1992: 237—310] -- насколько можно судить, Сталин воспринимал его в той же логике, что и фактический раздел Европы в соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова--Риббентропа, если не считать того, что в 1939-м «высокие договаривающиеся стороны», судя по имеющимся сегодня данным, изначально не собирались соблюдать достигнутые ими соглашения в течение сколь-либо долгого времени².

В послевоенные годы советский диктатор и члены Политбюро буквально реализовали закулисные договоренности с союзниками о разделе сфер влияния, полностью ставя под контроль страны, оккупированные Советской армией и стремясь изменить границы этих сфер -- то пытаясь «втянуть» весь Берлин в восточную зону оккупации (1948), то требуя создать советскую военную базу в районе проливов Босфор и Дарданеллы (1946), то провоцируя разделение Кореи (1950) ([Эпплбаум 2015] и др.). Однако, по-видимому, логика «холодной войны» была заложена еще раньше, во второй половине 1930-х.

Гражданская война в Испании (1936—1939), в которой происходило скрытое «выяснение отношений» СССР и Германии, предвосхищала послевоенные «опосредованные войны» (proxy wars), в которых споры великих держав могли решаться в локальных конфликтах [Mumford 2013: 26—29]. Однако Испания была лишь самым кровавым выражением изменений, происходивших в самом обосновании международных отношений и порожденных эволюцией тоталитарных государств. В 1938 году близкий тогда к нацизму немецкий философ права Карл Шмитт написал «королларий» к вышедшему раньше (1932) его труду «Понятие политического». В этом коротком, но важном тексте Шмитт утверждал, что современные юридические теории не позволяют провести четкой границы между состояниями мира и войны и что поэтому эти состояния должны быть реконцептуализированы. По мнению Шмитта, «первичным понятием» в современном мире становится не война (или мир), а вражда. «Война ведется дальше на новом, более высоком уровне, уже не как чисто военное осуществление вражды. <...> ...Вневоенные области (экономика, пропаганда, психические и моральные энергии

² Из более новых работ о происхождении «холодной войны» см. также: [Pops 2003]; [Наджафов 2003].

некомбатантов) втягиваются во враждебную полемику» [Шмитт 2015: 106]. По сути, перед нами описание логики «холодной войны» *avant la lettre*.

Такое предвосхищение стало возможным потому, что во внешней политике нацистской Германии и сталинского СССР в 1930-е годы были заложены новые тенденции, которые не исчезли после разгрома Германии во Второй мировой войне³. Первая из них – это возвращение, в особо жестокой и циничной форме, к политическому мышлению XIX века, предполагавшему раздел мира на сферы влияния «великих держав», при котором интересы малых государств («лимитрофов») и народов признаются по умолчанию неважными или, во всяком случае, второстепенными. Второй – в отличие от XIX века, эта внешнеполитическая стратегия сопровождалась массовой мобилизацией населения – и не только военной, но и психологической -- на поддержку позиции «своей» державы и сознательное противостояние внешним влияниям на уровне повседневной жизни – не только в период вооруженного конфликта (вспомним, как российские дворяне в период войны 1812 года старались, не всегда успешно, перейти с привычного французского на русский язык), но всегда, в принципе, делая ксенофобию частью жизненного стиля -- в рамках описанной немецким правоведом «тотализации»⁴.

Провозглашенная в «короллари» «логика вражды» парадоксально сочетала глобальные амбиции и изоляционизм. В этой манифестарной заметке Шмитт сделал видимой новую политическую культуру тоталитарных государств, которая реализовалась не только во внешней политике, но и в изменении языков (*idioms*) медиа, искусства, литературы, в сфере образования и в иных, казалось бы, неполитических областях.

Такая форма политической мобилизации, как подчинение целых государств интересам «вражды», несмотря на ее новизну, по сути, была контрмодернизационной: она предполагала фетишизацию сообщества и минимизацию свободного выбора индивида (что вообще характерно для тоталитаризма). С началом «холодной войны» эта политическая логика была отчасти – хотя и не в полной мере – возрождена. «Холодная война» может быть описана как насильственная реставрация и массовизация принципов международных отношений, характерных для конца XIX—начала XX веков – поддержания баланса сил

³ Развитие представлений о сферах влияния в европейской политической мысли XIX—XXI веков см. в работе: [Hast 2014].

⁴ В своих рассуждениях о «тотализации» Шмитт, возможно, откликался на учение о тотальной войне, обнародованное в 1935 году в монографии Э.В.Ф. Людендорфа [Ludendorff 1935].

между «великими державами» и раздела всего мира на сферы влияния, при котором малые государства могут существовать только как подчиненные «клиенты» «великих держав».

Принципы, положенные в основу этой системы, были сформулированы в двух ключевых документах: в Вестфальском мирном договоре 1648 года и в Генеральном акте Берлинской конференции по разделу Африки 1884—1885 годов. Рамочная идея «вестфальско-берлинской» системы сводилась к представлению международной политики как игры с нулевой суммой: выигрыш одного – проигрыш другого, однако в случае равновесия сил возможен компромисс. Одновременно с этим, Вестфальская система (еще в XVII веке) вводила представление о множественности и автономности легитимирующих систем – и, тем самым, о балансе сил не только в политической, но и в интеллектуальной сфере (см. подробнее: [Зонова 2008: 78—80]; [Фуко 2011: 373—404]). Этот уровень стал особенно важным в «невестфальской» ситуации «холодной войны», породившей конкуренцию идеологий. Существенно, однако, что новый мировой порядок оказался полицентрическим: несмотря на то, что «главных» игроков в нем было, по общему признанию, два, в действительности в противостояние сверхдержав вмешивались политические элиты других государств – и могли оказывать очень большое влияние на происходящее [Smith 2000].

Собственно термин «Cold War» тоже появился в предвоенные годы – тогда же, когда был написан «королларий» Шмитта. В слитном написании, coldwar, он был введен в английский язык в 1938 году, когда американский журнал «The Nation» после присоединения Австрии к Германии (аншлюсса) вышел с надписью на обложке: «Hitler's Coldwar». Чуть позже, примерно в 1939 или 1940-м, это выражение стал использовать влиятельный американский журналист и политический спичрайтер Герберт Б. Суоуп (Swore), но только в переписке, а не в публичных текстах (так что сам этот факт стал известен широкой публике только из его позднейших признаний). С 1946 года Суоуп стал включать это выражение в речи, которые он писал для политика и финансиста Баруха (Baruch)⁵.

⁵ Луис Гарсиа Ариас указывал, что средневековый испанский писатель Дон Хуан Мануэль (don Juan Manuel, 1282—1349) использовал выражение «холодная война» (la guerra fría), чтобы описать сосуществование арабского и испанского государств на Пиренейском полуострове.

Но еще до речей Баруха термин «холодная война» был переопределен публично. Такое переопределение предпринял Джордж Оруэлл в своей статье «Вы и атомная бомба» (газета «Tribune» от 19 октября 1945 года). Писатель описал таким образом новый режим сосуществования с соседями, которое отныне сможет вести государство, имеющее атомную бомбу (в тот момент – только США). И, наконец, повсеместно известным в США этот термин стал после выхода книги «Холодная война» журналиста и писателя Уолтера Липпмана (1947). В СССР он стал общеупотребительным, по-видимому, в том же 1947-м.

3. «Холодная война» как контрмодернизация

Контрмодернизационные аспекты «холодной войны» -- равно как и то, что ее логика была заложена не в 1946 году, а раньше – были хорошо заметны современникам. Даже такой запуганный человек, как Юрий Олеша, записывал в своем дневнике примерно в 1947 году:

«Холодная война — это мирозерцание, которое введено, безусловно, нами. Это ожесточение. Холодная война началась, когда появилась статья о гнилом либерализме. При современном состоянии человеческих умов, очень правильно названном гуманизмом, нельзя было вводить средневековое ожесточение идей» [Олеша 2006: 180]⁶.

Новый миропорядок, установленный в мире в 1946—1952 годах, был принудительно «наложен» на дифференцированные и автономные институты образования, науки и культуры, и на стремительное развитие глобализации, которой очень способствовала Вторая мировая война. В результате этого наложения возникла ситуация, при которой любые институты считались инструментами и площадками глобального соревнования. Как пишет Дэвид Коут, «холодная война» была беспрецедентным идеологическим и культурным соревнованием, в котором сверхдержавы стремились превзойти друг друга в образовании, функционировании общества и экономики, в письменных высказываниях, в производстве, в дискуссиях, в блеске («to out-educate, out-perform, out-write, out-produce, out-argue, outshine the other» [Caute 2005]). Это соревнование было основано на стремлении

⁶ «Статья о гнилом либерализме» – статья И.В. Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» (Пролетарская революция. 1931. № 6), в которой использованное ранее М. Салтыковым-Щедриным (и, возможно, им же и придуманное) выражение «гнилой либерализм» было превращено в политический ярлык, навешиваемый на оппонентов.

сверхдержав, а позже – крупных западноевропейских государств, Китая и многих других стран доказать превосходство «своей» политико-экономической модели.

Одной из первых мессианских деклараций «холодной войны» стала речь Сталина «на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы» 9 февраля 1946 года (то есть до Фултонской речи), в которой диктатор провозглашал:

«Наша победа означает, прежде всего, что победил наш советский общественный строй, что советский общественный строй с успехом выдержал испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность. <...> ...Советский общественный строй оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский общественный строй... советский общественный строй является лучшей формой организации общества, чем любой несоветский общественный строй» [Сталин 1947].

В СССР представление о разделении мира, основанное на противостоянии с обобщенным «Западом», было закреплено идеологически как единственно допустимая и усилена пропагандистской демонизацией «потенциального противника». Однако в странах «восточного блока», именно из-за навязанной им СССР изоляционистской политики, срабатывал принцип «запретный плод сладок» -- и западные страны и их культуры вызвали обостренный интерес у самых разных общественных групп. Это оказывало обратное влияние на художников, работавших в странах Запада – особенно в сфере массовой культуры: даже джазовые музыканты чувствовали, что реализуют уникальную историческую, если не религиозную миссию «свободного мира» [Devlin 2015]. Пьер Гроссе резонно замечает, что все эти элементы самосознания граждан эпохи «холодной войны» могли быть основаны на прежних, традиционных формах политического воображения – например, на этнонационализме или на религиозном фундаментализме – но действия политиков привели к переозначиванию этих старых форм и эксплуатации их в новых – как мы полагаем, мобилизационных – целях [Grosser 2015: 247].

Контрмодернизационный характер «холодной войны» органично вписывался в общий характер социально-политического развития СССР, сочетавшей черты собственно модернизации и архаизации общества (см. об этом, например [Вишневский 1998]). Однако «холодная война» привнесла контрмодернизационные элементы и в политическую культуру европейских «стран народной демократии», вовлеченных в орбиту влияния СССР, и в политическую культуру США и других западных государств. Несмотря на общее

стремление послевоенных американских политических элит к распространению идей универсализма, ему в американской политике противостояли изоляционистские тренды, заметные, например, в маккартизме. Впрочем, даже гораздо более сдержанный, чем Маккарти, Збигнев Бжезинский, хотя и провозглашал необходимость международного сотрудничества, все же в своем труде «Великая шахматная доска» постоянно сравнивал сверхдержавы с империями прошлого, а при разговоре о будущем США почти произвольно переводил свои рекомендации с современного политического языка на архаический, свойственный XIX веку, если не еще более ранним временам: «...для Соединенных Штатов евразийская геостратегия включает целенаправленное руководство динамичными с геостратегической точки зрения государствами и осторожное обращение с государствами-катализаторами в геополитическом плане, соблюдая два равноценных интереса Америки: в ближайшей перспективе -- сохранение своей исключительной глобальной власти, а в далекой перспективе -- ее трансформацию во все более институционализирующееся глобальное сотрудничество. Употребляя терминологию более жестоких времен древних империй, три великие обязанности имперской геостратегии заключаются в предотвращении сговора между вассалами и сохранении их зависимости от общей безопасности, сохранении покорности подчиненных и обеспечении их защиты и недопущении объединения варваров» [Бжезинский 1998]. Этот «произвольный перевод» показывает, что даже Бжезинский, умевший учитывать взаимодействие в международных отношениях множества факторов, поддавался соблазну архаизации политического мышления, характерной для «холодной войны». Однако и в странах Запада, и, отчасти, в СССР подобные консервирующие тренды осложнялись интенсивной культурной дипломатией и стремлением создать привлекательный образ своего государства и «своей» идеологии.

Американский журналист Томас Фридман заметил: «Система «холодной войны» сформировала не все, но многое» (“Cold War system didn’t shape everything, but it shaped many things”)⁷. Историки, пишущие о «холодной войне», на протяжении нескольких десятилетий рассматривали ее в первую очередь с точки зрения истории международных отношений, войны разведок и контрразведок, конкуренции военно-промышленных разработок. Но «холодная война» и изоляционизм СССР и (пусть и чуть меньший по

⁷ Цит. по: [Westad 2000].

градусу) стран «восточного блока», и изоляционистские тенденции в политической культуре США – все это оказало огромное влияние на ментальные структуры и на развитие политических мифологий. Как показал Р. Робин, представления о России и о других «потенциальных противниках» могли опираться на слухи и иные мифологизированные сведения даже в текстах, которые составлялись экспертами по «второму миру» в специализированных исследовательских центрах (think tanks) [Robin 2001]. Тем более это справедливо для стран по другую сторону «железного занавеса».

Еще в 2000 году Одд Арне Вестад предложил рассматривать три измерения «холодной войны»: конкуренция идеологий, конкуренция экономических моделей и схватка сверхдержав за «третий мир» [Westad 2000]. С тех пор изучение этих полей было дополнено многими другими. Во второй половине 2000-х и в 2010-е годы было показано, что «холодная война» повлияла на множество социальных и культурных практик, формально не имевших к ней прямого отношения: на отношение к детям и молодежи [Peakock 2017], на потребительские практики, связанные с питанием и приготовлением пищи [Oldenzien, Zachmann 2009], на интерпретацию произведений Шекспира по обе стороны «железного занавеса» [Thomas 2014]; [Sheen, Karremann 2016] или на деятельность религиозных организаций – тоже с обеих сторон [Kirby 2003]; [Herzog 2012]; [Wallace 2013]; [Белякова 2017]. В работах Эндрю Хэммонда и в сборниках, вышедших под его редакцией, прослежено влияние «холодной войны» на литературу и показано, что литературные произведения могут быть использованы как источники для реконструкции политического воображения «холодной войны» [Hammond 2006]; [Hammond 2011]; [Hammond 2012]. Однако подобная работа применительно к советской литературе 1940—80-х годов не проведена, если не считать считанных работ (см., например: [Rogachevsky 2006], [Гудкова 2009]). Исследования того, как в США политика «холодной войны» влияла на воображение ученых-гуманитариев, уже начались [Erickson et al. 2013], а аналогичные эффекты «холодной войны» в СССР, насколько мне известно, пока не обсуждаются.

Авторы полагают, что ситуация «холодной войны» способствовала выработке неочевидных путей сопротивления ксенофобской и изоляционистской идеологии -- построению своего рода ментальных «обходных путей», -- и переосмыслению «импортных», заимствованных с Запада идей и практик.

Вячеслав Морозов в книге «Россия и другие» [Морозов 2009] показывает, что представления членов «воображаемого сообщества» о его внешних границах связаны отношениями взаимообусловленности и взаимовлияния с тем, как эти же участники сообщества воспринимают самих себя и с их «артикуляционными» практиками, а именно – с тем, какие определения и контекстуализации сообщества считаются допустимыми, а какие – нет. В рамках нашего исследовательского проекта мы изучаем именно эту связь «внешнего» и «внутреннего», которая во многом основывается, как полагает Морозов (с опорой на работы Э. Лакло и Ш. Муфф), на том, что политические значения в языке для описания «внешнего» влияют на язык для описания «внутреннего».

«Холодная война» сопровождалась масштабным переозначиванием границ советского «воображаемого сообщества». Особенно характерной была осуществленная *de facto* криминализация любого общения с иностранцами (закон о запрете браков советских граждан с иностранцами -- 15 февраля 1947 г., закрытое письмо ЦК о «деле Ключевой и Роскина» -- 15 июня 1947 г.) [Есаков, Левина 2005], -- произошедшая после относительной либерализации в отношении к гражданам стран-союзников в период Второй Мировой войны. Эта криминализация сопровождалась прокатом в СССР «трофейных» фильмов, который был нужен для того, чтобы наполнить государственную казну – однако вследствие этого проката советские люди могли общаться с иностранцами воображаемыми, а часто – еще и фантастическими (например, Тарзаном в исполнении Джонни Вайсмюллера). Такое сочетание запрета с «чужаками» из плоти и крови и пропаганды (термин Бориса Маслова) общения с «чужаками» на экране во многом повлияли на становление двойственного воображения «заграницы» как мира одновременно опасности, риска – и манящей сексуальной и физической свободы. Леонид Гайдай в фильме «Бриллиантовая рука» (1969) уже пародирует такую двойственность.

Необходимо обсудить, в чем советские практики и социальное воображение времен «холодной войны» отличалось от аналогичных феноменов 1920—30-х годов, если СССР на протяжении всей своей истории управлялся и изображался в собственной пропаганде как «осажденная крепость»? В начальный период «холодной войны» для СССР становится особенно важным пропаганда национального превосходства. Эта пропаганда во многом продолжала довоенный идеологический поворот в духе «национал-большевизма». Однако, начиная уже с первых послевоенных лет, она была пронизана мотивами борьбы за сферы

влияния (с уже высказанной оговоркой о том, что гражданская война в Испании предвосхищала этот мотив в предвоенные годы). Однако были и другие, менее заметные, но не менее важные отличия, позволяющие описать период «холодной войны» как существенное изменение в советских моделях политического воображения.

С самого момента большевистского переворота общество находилось «в состоянии перманентной мобилизации» [Шлэгель 2011: 684], однако до и после Второй мировой войны *режимы* мобилизации были организованы по-разному. До 1941 года мобилизация предполагала массовое участие населения СССР в будущей близкой войне, а пропаганда пугала людей опасностью «возвращения к капиталистическому строю», что хорошо видно по обвинениям на московских процессах 1937—38 годов [Шлэгель 2011: 129—130]. После создания атомной бомбы между СССР и США разгорелась всемирная битва за влияние, выражавшаяся в укреплении *soft power*, использовании секретных операций и ведении *proxy wars* – таких, как войны в Корее и Вьетнаме, гражданские войны в Анголе и Сальвадоре и др. Однако *прямого* столкновения – которое непременно подразумевало использование атомного оружия -- и массового участия собственного населения в боевых действиях обе сверхдержавы, по-видимому, не хотели (впрочем, Мао Цзедун, в отличие от лидеров СССР и США, регулярно пугал западных собеседников заявлениями о том, что готов к ядерной войне и не видит в ней ничего особенно катастрофического – однако возникает вопрос о том, насколько он при этом блефовал) [Хобсбаум 2004]. В отличие от предвоенных лет, негативной «референтной точкой» прошлого для советской пропаганды стало не дореволюционное состояние, а скорее тотальная мобилизация и тяжелейшие лишения времен Второй мировой войны, не называемые публично, но всем памятные (эта референция вполне разделялась значительной частью общества, отклик которой выражался в очень важной для 1950—70-х годов фразой «лишь бы не было войны», предполагавшей, в частности, массовую готовность терпеть низкий уровень жизни и иные ограничения – в целом такую установку на «посттравматическое» покорное терпение Ю. Левада назвал «понижающей адаптацией») [Гудков 2004]; поэтому советская пропаганда на протяжении десятилетий пугала свою аудиторию «возрождением фашизма» и «реваншистских сил». Уклонение от войны превращало социальную мобилизацию в самоцельное и «подвешенное», не имевшее предполагаемой разрядки в ближайшем будущем, но

психологически интенсивное коллективное переживание. Такое состояние, ставшее фоном повседневной жизни, скрыто влияло на многие процессы в культуре.

В конце 1940-х, сразу после временного «открывания» страны на время Великой Отечественной войны, в обществе насаждались почти истерическая по градусу ксенофобия, породившая ряд устойчивых (как выяснилось позже) политических мифов [Карп 2006]. Как уже не раз писали исследователи, ситуация после 1953 года может быть описана как постепенная трансформация «изоляционистских» ментальных структур: воображаемый «Запад» для граждан СССР все больше представлялся как недоступное, но желанное пространство [Горалик 2009]. После перехода политических репрессий из массовых в «точечные» такая трансформация обусловила появление новых культурных практик (передача рукописей на Запад, и, как следствие, развитие «тамиздата», с другой стороны – самодеятельный импорт, «фарцовка», подпольное тиражирование западной поп-музыки). Возникла конкуренция властных и неофициальных политических мифологем, сопровождавшаяся все большей эмансипацией личности, -- а этот процесс, в свою очередь, повлек усиление идеологического контроля над обществом; впрочем, значительную роль тут сыграл страх советских руководителей перед повторением венгерских событий 1956 года внутри СССР.

Изоляционизм в довоенные годы был идеологическим, но не технологическим и лишь отчасти – культурным: советская экономика 1920—30-х годов в высокой степени зависела от импорта западных идей и технологий, многие заводы и гражданские сооружения были построены при участии иностранных специалистов и проектировщиков; универсалистские претензии советского строя демонстрировались, в частности, с помощью масштабных издательских серий по переводу иностранной художественной литературы, памятников философской и гуманитарной мысли и т.д. [Clark 2011]; [Басс 2016] – что, вероятно, могло бы произвести сюрреалистическое впечатление на внешнего наблюдателя, так как все эти проекты осуществлялись параллельно с бесконечными арестами обвиняемых в работе на иностранные разведки и на высланного из страны Л.Д. Троцкого, круглосуточной пропагандой, которая была тоже наполнена мотивами шпиономании, и риторикой национального превосходства, которая стала частью национал-большевистского идеологического поворота [Бранденбергер 2011]. Однако в 1930-е годы из советского культурного обихода быстро были вытеснены писатели и художники западных

модернистских течений, а сравнения с ними в критике приобрели смысл публичного политического доноса. В послевоенные годы идеологический изоляционизм только усилился, а культурный стал тотальным: любое предположение о влияниях западных авторов на российских в период «борьбы с космополитизмом» расценивалось как политическое преступление. Что же касается технологического изоляционизма, то он, пользуясь выражением Майкла Дэвида-Фокса, перешел в режим полупроницаемой мембраны [David-Fox 2014]: в «гонке вооружений» СССР и США стремились втайне выработать средства вооружения, позволяющие достичь превосходства над противником, однако «ползучий» импорт идей с Запада в СССР продолжался – с помощью шпионажа (как это было в случае с атомной бомбой) и/или заимствований без ссылок, при которых менеджерские, научные или технологические идеи включались в новый контекст. Изучение этого процесса является особенно сложным, так как в ряде случаев сходные идеи могли быть выработаны по обе стороны «железного занавеса» независимо друг от друга – как, например, идея тотального социального проектирования, в СССР разработанная командой Г.П. Щедровицкого перекликается в некоторых вопросах со «всеобщей наукой опережающего проектирования», которую предложил американский ученый и изобретатель Р. Бакминстер Фуллер в 1956 году [Ратти, Клодел 2017: 12—13]; в подобных случаях важно анализировать как сходства, так и различия.

В целом после смерти Сталина советский изоляционизм ослабевает и одновременно рутинизируется: он воспринимается не как временная мера (до победы мировой революции) и не как признак чрезвычайной ситуации («если завтра война»), но как «нормальное», «вечное» состояние общества. В ситуации общего советского стремления превзойти «стратегического противника» во всех сферах общественной жизни – или, как минимум, отрицать любое отставание от него – изоляционизм становится важнейшим элементом политического воображения, конституирующего границы сообщества. Другой, не менее важной ментальной конструкцией становится своеобразно понимаемая *Realpolitik*, ставшая особенно явной в 1970-е годы, когда стало понятно, что, несмотря на продолжающуюся деколонизацию, советскому руководству не имеет смысла надеяться на быстрое расширение «своей» сферы влияния. В этих условиях восторжествовала идея стремления к внешнеполитическому паритету: каждый шаг по расширению внешнего контроля со стороны США, как предполагалось, должен был вызывать ответные

симметричные действия СССР, и наоборот. Подобного рода установки вошли не только в пропаганду, но и в общие представления об управлении (пользуясь выражением Мишеля Фуко, «правительность»), характерные для советских элит. Такая правительность хорошо видна в романах Юлиана Семенова – писателя-детективщика, в 1970-е годы близко связанного с КГБ и транслировавшего в сублимированном и романтизированном виде представления, характерные для «органов».

То, насколько подобная картина мира укоренилась в сознании постсоветских культурных акторов, показывает цикл романов Сергея Лукьяненко о «дозорах» (1998—2014), один из самых успешных постсоветских проектов в области фантастической литературы и, шире, массовой культуры в целом (первый из романов экранизировал известный режиссер Тимур Бекмамбетов, фильм получил обширную прессу и имел большие сборы в прокате). Сергей Лукьяненко – писатель-фантаст, до 1996 года живший в Казахстане и там же получивший первоначальную известность. Насколько можно судить, он не связан ни с какими спецслужбами, однако из его романов и биографии можно заключить, что он вырос на позднесоветской подцензурной литературе – в диапазоне от братьев Стругацких до упомянутого Ю. Семенова, и западной фантастике и массовой культуре 1960-х – 70-х годов – здесь прежде всего нужно назвать цикл фильмов Дж. Лукаса «Звездные войны».

Цикл Лукьяненко о «дозорах», состоящий из шести романов, основан на представлении о борьбе «светлого» и «темного» миров, представленных, соответственно, «светлыми» и «темными» Иными, или, иначе говоря, магами. Они действуют в «Сумраке» -- потустороннем пространстве, недостижимом для других людей. Два «лагеря» связаны соглашением, заключенным очень давно (действующим «всегда») и имеющим мистическую силу, -- согласно этому договору, любое значимое действие, меняющее баланс сил со стороны «темных» или «светлых», дает право другой стороне совершить аналогичное действие и, пользуясь языком Остапа Бендера, «восстановить статус-кво». В своих действиях Иные исходят из представлений о «симметрии» своих лагерей. Тем не менее персонажи признают, что отношения между двумя группами Иных – это перманентная борьба: «...Свет не может бороться с Тьмой, не беря на вооружение любые доступные средства».

Текст Договора гласит:

Мы — Иные.

Мы служим разным силам,

Но в Сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света.

Наша борьба способна уничтожить мир.

Мы заключаем Великий Договор о перемирии.

Каждая сторона будет жить по своим законам.

Каждая сторона будет иметь свои права.

Мы ограничиваем свои права и свои законы.

Мы — Иные.

Мы создаём Ночной дозор,

Чтобы силы Света следили за силами Тьмы.

Мы — Иные.

Мы создаём Дневной дозор,

Чтобы силы Тьмы следили за силами Света.

Время решит за нас.

Здесь очень характерна ссылка на «время», то есть на исторический процесс, который признается своего рода метафизическим арбитром.

Для контроля друг за другом «светлые» и «темные» используют систематически и повсеместно осуществляемую разведку, или «дозор».

Манихейская картина мира дополняется у Лукьяненко идеей персональной лояльности: переход Иных в другой лагерь теоретически возможен, но всегда является исключительным событием. В целом политическое мировоззрение, выраженное в романах Лукьяненко, может быть названо феодальным гностицизмом⁸.

Романы Лукьяненко показывают, что позднесоветская правительственность, определяющая границы сообщества, сохраняется в превращенном виде и в современной культуре.

⁸ Другую интерпретацию романов Лукьяненко и фильма Бекмамбетова см.: [Митрохин 2005].

Мы критически относимся к концепции исторических циклов в ее сильной версии, а именно – к предположениям, согласно которым в истории одной и той же страны или одного и того же сообщества может много раз *mutatis mutandis* повторяться один и тот же цикл: такое повторение отменяло бы результаты предшествующего развития, а мы полагаем, что это невозможно – любые исторические последствия могут быть преодолены, но не сделаны из бывших небывшими. Однако мы считаем возможным применение концепции циклов в слабой версии: развитие тех или иных практик, отношений власти или подрыва таких отношений может начаться после исторического катаклизма *как бы* заново, но привести в новых условиях к другим результатам. С этой оговоркой можно сказать, что после Второй мировой войны, способствовавшей усилению открытости советского общества, во второй половине 1940-х начался новый цикл развития советского изоляционизма. После исторического всплеска конца 1940-х – начала 50-х и последующего частичного развенчания сталинизма на XX съезде КПСС культурная политика вновь становится более универсалистской, однако сохраняет заметные ограничения. В этих условиях развивается массовая адаптивная практика – смягченное, романтизированное, адаптированное приспособление западных культурных практик к советской повседневности, чреватое, однако, постоянной опасностью зайти слишком далеко: когда культурный трансфер приводил к проблематизации советской социальности, бунтарскому поведению или просто оказывался «слишком» (по советским меркам) универсалистским, слишком активным по импорту художественных языков и эстетических практик – это немедленно вызывало репрессии со стороны спецслужб, государственных структур и/или идеологических инстанций. Примеры таких «переходов границы» или балансирования на грани допустимого можно найти в истории советской поп-музыки 1960—70-х годов, которая расщепилась на вполне допустимые ВИА («вокально-инструментальные ансамбли») и полуразрешенную, если не вовсе запрещенную рок-музыку [Троицкий 2009].

В целом советский «полупроницаемый» изоляционизм, начиная с середины 1950-х годов, был основан на *манипуляции исключительностью*, при которой степень уникальности советского общества и «потребной» для него степени изоляции политические элиты постоянно переопределяли в режиме ручного управления, сообразуясь с текущими внутри- и внешнеполитическими обстоятельствами – и жестко блокировали все попытки независимого общения с внешним миром со стороны советских граждан, особенно же –

информирование о нарушениях прав человека в СССР. Такая правительственность оказала очень большое влияние на советскую культуру, породив представление о том, что «неудобные», психологически и/или идеологически дискомфортные представления о Другом можно и нужно адаптировать или отбрасывать. В представлениях политических элит современной России такая установка натурализована: те представления о Другом, которые подрывают существующие в российском обществе отношения власти, объявляются «не соответствующим национальным традициям» или просто игнорируются. Это очень хорошо заметно по реакции российских властей на решения Европейского суда по правам человека, касающиеся равноправия сексуальных меньшинств [Engle 2013] (в отличие от Михаила Антонова [Antonov 2017], я полагаю, что эта реакция обусловлена не религиозной традицией в России – напротив, религиозная риторика используется, чтобы легитимизировать юридическое непризнание Другого).

В советские времена «менеджмент исключительности» привел режим к поражению. В 1992 году Роберт Конквест писал: «...конец Холодной Войны можно понять как поражение, которое Магнитогорску нанесла Кремниевая Долина» [Conquest 1992]. Эта эффектная метафорическая фраза может быть интерпретирована в том смысле, что в СССР до самого конца сохранялись ценности «Магнитогорска» -- индустриального общества 1930-х годов. Советские элиты стремились приблизить свой собственный быт и быт привилегированных групп населения к стандартам западного общества потребления («югославская стенка и финский сервелат», «машина, дача и квартира» и т.п. коды высокого по советским меркам материального благосостояния). Однако эти же элиты консервировали собственную правительственность и образы правительности и сообщества, распространенные в подцензурной культуре – и не имели ни желания, ни средств для того, чтобы изменить эту ситуацию⁹.

Сегодняшнюю атмосферу взаимодействия между Россией и западными странами исследователи уже успели назвать «Post-Post-Cold War» [Averre, Wolczuk], «возвращением

⁹ Попытки создать альтернативные модели governmentality в фантастической литературе были редкими и могли вызвать скандал – если оказывались опознаны. Такой скандал вызвал роман Ивана Ефремова «Час быка» (1968), в котором Ефремов изобразил изоляционистское общество как больное и опасное; фактически, он критиковал советскую governmentality с позиций гуманистического марксизма (одним из главных авторитетов в его романе является мыслитель Эрф Ром – прозрачный намек на Эриха Фромма) и универсалистского нью-эйджа западного образца. По-видимому, именно выход романа повлек за собой обыск, который сотрудники КГБ произвели в квартире Ефремова после его смерти.

«холодной войны»» [Black, Johns, Thierault 2016], «новой “холодной войной”» [Porter-Szűcs 2017] или «вскрытием (unwinding) порядка, сложившегося в мире после Холодной Войны» [Menon, Rumer 2015]. Мы надеемся, что изучение ментальных тактик и стратегий «холодной войны» поможет осмыслению не только этой относительно давней эпохи, но и современной ситуации, которая пока еще не обрела собственного названия.

ЛИТЕРАТУРА

- Antonov 2017 -- Antonov M. Religion, Sexual Minorities and the Rule Of Law In Russia: Mutual Challenges. HSE working papers. Series: political science. WP BRP 45/PS/2017. 2017 (goo.gl/FoFbVA).
- Averre, Wolczuk 2016 -- Averre D., Wolczuk K. Introduction: The Ukraine Crisis and Post-Post-Cold War Europe // *Europe-Asia Studies*. Vol. 68, No. 4, June 2016. P. 551–555.
- Barnhizer 2015 -- Barnhizer G. Cold War Modernists: Art, Literature, and American Cultural Diplomacy. New York: Columbia University Press, 2015.
- Bazin, Dubourg, Piotrowski 2016 -- Bazin J., Dubourg Glatigny P., and Piotrowski P. (eds.) *Art beyond Borders: Artistic Exchange in Communist Europe (1945–1989)*. Budapest; New York: Central European University Press, 2016.
- Caute 2005 -- Caute D. *The Dancer Defects: The Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Chandler 1998 -- Chandler A. *Institutions of Isolation: Border Controls in the Soviet Union and Its Successor States, 1917—1993*. Montreal & Kingston; London; Buffalo: McGill-Queen's University Press, 1998.
- Clark 2011 -- Clark K. *Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941*. Cambridge, MA; London, 2011.
- Oldenziel, Zachmann 2009 -- Oldenziel R., Zachmann K. (eds.) *Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users*. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2009.
- Hammond 2006 – Hammond A. (ed.) *Cold War Literature: Writing the global conflict*. London; New York: Routledge, 2006.
- Conquest 1992 -- Conquest R. Party in the Dock // *Times Literary Supplement*, November 6, 1992, p. 7.
- Cox, Kennedy-Pipe 2005 -- Cox M., Kennedy-Pipe C. The Tragedy of American Diplomacy? Rethinking the Marshall Plan // *Journal of Cold War Studies*. 2005. Vol. 7, No. 1. P. 97-134.
- David-Fox 2014 -- David-Fox M. The Iron Curtain as Semi-Permeable Membrane: The Origins and Demise of the Stalinist Superiority Complex // *Cold War Crossings: International Travel and Exchange across the Soviet Bloc, 1940s-1960s* / Ed. by Patryk Babiracki and Kenyon Zimmer, Introd. by Vladislav Zubok. Texas A&M University Press, 2014. P. 14—39.
- Devlin 2015 -- Devlin J. Jazz Autobiography and the Cold War // *Popular Music and Society*. 2015. Vol. 38, No. 2. P. 140–159.
- Engle 2013 -- Engle E.A. Gay Rights in Russia? Russia's Ban on Gay Pride Parades and the General Principle of Proportionality in International Law. 2013 (goo.gl/YcKAF7).
- Erickson et al. 2013 – Erickson P., Klein J.L., Daston L., Lemov R., Sturm T., and Gordin M.D. *How Reason Almost Lost Its Mind The Strange Career of Cold War Rationality*. Chicago: The University of Chicago Press, 2013.
- Fainberg, Kalinovsky 2016 -- Fainberg D., Kalinovsky A. (eds.) *Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange*. Lanham; Boulder; New York; London: Lexington Books, 2016.
- Gaddis 2005a -- Gaddis J.L. *Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War. Revised and Expanded Edition*. Oxford University Press, 2005 (1st ed. – 1982).

Gaddis 2005b -- Gaddis J.L. *The Cold War: A New History*. New York: The Penguin Books, 2005.

Gaddis 1997 -- Gaddis J.L. *We Now Know: Rethinking Cold War History*. Oxford University Press, 1997.

Hammond 2011 -- Hammond A. (ed.) *Global Cold War Literature: Western, Eastern and Postcolonial Perspectives* / Ed. by A. Hammond. London and New York: Routledge, 2011.

Grosser 2015 -- Grosser P. Looking for the core of the Cold War, and finding a mirage? // *Cold War History*, 2015. Vol. 15, No. 2. P. 245–252.

Hammond 2013 -- Hammond A. *British Fiction and the Cold War*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

Hast 2014 -- Hast S. *Spheres of Influence in International Relations History, Theory and Politics*. Ashgate, 2014.

Herzog 2012 -- Herzog J.P. *The Spiritual Industrial Complex: America's Religious Battle Against Communism in the Early Cold War*. New York: Oxford University Press, 2012.

Black, Johns, Thierault 2016 -- Black J.L., Johns M., Thierault A.D. (eds.) *The Return of Cold War: Ukraine, the West and Russia*. Routledge, 2016.

Karp 2006 -- Karp A. *The Cold War in the Soviet School: A Case Study of Mathematics Education* // *European Education*. 2006. Vol. 38. No. 4. P. 23—43.

Keohane, Nye 2011 -- Keohane R., Nye J. *Power and Interdependence*. 4th ed. (1st ed. – 1977). Boston; Columbus et al.: Longman, 2011.

Laver 2011 -- Laver M.S. *The Sakoku Edicts and the Politics of Tokugawa Hegemony*. Amherst; N.Y.: Cambria Press, 2011.

Ludendorff 1935 -- Ludendorff E. *Der totale Krieg*. München: Ludendorffs Verlag, 1935.

Mazierska 2016 -- Mazierska E. (ed.) *Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm*. Palgrave Macmillan, 2016.

Menon, Rumer 2015 -- Menon R., Rumer E. *Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post-Cold War Order*. Cambridge, MA; London: A Boston Review Book; The MIT Press, 2015.

Miller, Rose 1990 -- Miller P., Rose N. *Governing Economic Life* // *Economy and Society*. 1990. Vol. 19. No. 1. P. 1—31.

Mumford 2013 -- Mumford A. *Proxy Wars*. Cambridge: Polity Press, 2013.

Peacock 2017 -- Peacock M. *Innocent Weapons. The Soviet and American Politics of Childhood in the Cold War*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2017.

Pons 2001 -- Pons S. Stalin, Togliatti, and the Origins of the Cold War in Europe // *Journal of Cold War Studies*. 2001. Vol. 3, No. 2. P. 3-27.

Porter-Szűcs 2017 -- Porter-Szűcs B. Exclusionary Egalitarianism and the New Cold War // *Slavic Review*. 2017. Vol. 76. No. S1. P. S81—S87.

Reisch 2005 -- Reisch G.A. *How the Cold War Transformed Philosophy of Science: To the Icy Slopes of Logic*. Oxford University Press, 2005.

Kirby 2003 -- Kirby D. (ed.) *Religion in the Cold War*. Basingstoke: Palgrave, 2003.

Robin 2001 -- Robin R.T. *The Making of the Cold War Enemy: Culture and Politics in the Military-Intellectual Complex*. Princeton University Press, 2001.

Rogachevsky 2006 -- Rogachevsky A. The Cold War representation of the West in Russian literature // *Cold War Literature: Writing the global conflict*. P. 31—45.

Rupprecht 2015 -- Rupprecht T. *Soviet Internationalism after Stalin: Interaction and Exchange between the USSR and Latin America during the Cold War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

- Sheen, Karremann 2016 -- Sheen E., Karremann I. (eds.) *Shakespeare in Cold War Europe: Conflict, Commemoration, Celebration*. Palgrave Macmillan 2016.
- Smith 2000 -- Smith T. *New Bottles for New Wine: A Pericentric Framework for the Study of the Cold War // Diplomatic History*. 2000. Vol. 24, No. 4. P. 567—591.
- Thomas 2014 -- Thomas A. *Shakespeare, Dissent, and the Cold War*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Turku 2009 -- Turku H. *Isolationist States in an Interdependent World*. Ashgate Publishing, 2009.
- Wallace 2013 -- Wallace J.C. *A Religious War?: The Cold War and Religion // Journal of Cold War Studies*. 2013. Vol. 15. No. 3. P. 162—180.
- Westad 2000 -- Westad O.A. *Bernath Lecture. The New International History of the Cold War: Three (Possible) Paradigms // Diplomatic History*. 2000. Vol. 24, No. 4. P. 551—565.
- Zubok 2007 -- Zubok V. *A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2007.
- Басс 2016 -- Басс В. *Формальный дискурс как последнее прибежище советского архитектора // Новое литературное обозрение*. 2016. № 137.
- Белякова 2017 -- Белякова Н. *Церкви в холодной войне. Введение // Государство. Религия. Церковь*. 2017. № 1 (35). С. 7—18.
- Бжезинский 1998 -- Бжезинский З. *Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы) / Пер. с англ. О.Ю. Уральской*. М.: Международные отношения, 1998.
- Бранденбергер 2009 -- Бранденбергер Д. *Национал-большевизм: Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания. 1931-1956 / Пер. с англ. Н. Алешиной и Л. Высоцкого*. СПб.: ДНК, 2009.
- Вишневский 1998 -- Вишневский А.В. *Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР*. М.: ОГИ, 1998.
- Гадамер 1988 -- Гадамер Х.-Г. *Истина и метод / Пер. с нем.; Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова*. М.: Прогресс, 1988.
- Горалик 2009 -- Горалик Л. *Плюс на минус...: Восприятие «Америки» последним поколением советских детей // Новое литературное обозрение*. 2009. № 95.
- Гудков 2004 -- Гудков Л. *«Память о войне» и массовая идентичность россиян // Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов*. М.: Новое литературное обозрение; ВЦИОМ-А, 2004.
- Гудкова 2009 -- Гудкова В. *«Многих этим воздухом и просквозило...»: Антиамериканские мотивы в советской драматургии (1946—1954) // Новое литературное обозрение*. 2009. № 95.
- Дин 2016 -- Дин М. *Правительственность: Власть и правление в современных обществах / Пер. с англ. А. Писарева под ред. С. Гавриленко*. М.: Дело, 2016.
- Дружинин 2012 -- Дружинин П. А. *Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование: В 2 т*. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Есаков, Левина 2005 -- Есаков В. Д., Левина Е. С. *Сталинские «суды чести». Дело «КР»*. — М.: Наука, 2005.
- Зонова 2008 -- Зонова Т.В. *Вестфальская система // Вестник МГИМО – Университета*. 2008. № 1. С. 78—80.
- Митрохин 2005 -- Митрохин Н. *Ночной дозор: хороший вампир Анатолий Борисович Чубайс и гражданское общество // Неприкосновенный запас*. 2005. № 1 (39).

Наджафов 2003 -- Наджафов Д.Г. К вопросу о генезисе Холодной войны // Холодная война. 1945—1963 гг. Историческая ретроспектива / Отв. ред. Н. И. Егорова, А. О. Чубарьян. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.

Олеша 2006 -- Олеша Ю. Книга прощания. М.: Вагриус, 2006.

Ратти, Клодел 2017 -- Ратти К., Клодел М. Город завтрашнего дня: сенсоры, сети, хакеры и будущее городской жизни / Пер. с англ. Е. Бондал. М.: Издательство института Гайдара, 2017.

Сталин 1947 -- Сталин И. Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г. М.: Московский рабочий, 1947.

Тихомиров 2014 -- Тихомиров А. «Лучший друг немецкого народа»: культ Сталина в Восточной Германии (1945–1961 гг.). М.: РОССПЭН, 2014.

Троицкий 2009 -- Троицкий А.К. Back in the USSR. СПб.: Амфора, 2009.

Фуко 2011 – Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977—1978 учебном году / Пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2011.

Хобсбаум 2004 -- Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век (1914—1991). Пер. с англ. Е.М. Нарышкиной и А.В. Никольской. М.: Независимая газета, 2004.

Шлэгель 2011 -- Шлэгель К. Террор и мечта: Москва 1937 / Пер. с нем. В. Брун-Цехового. М.: РОССПЭН, 2011.

Шлезингер-младший 1992 -- Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории / Пер. с англ. П.А. Развина и Е.И. Бухаровой. М.: Прогресс, 1992.

Шмитт 2015 -- Шмитт К. Королларий 2: О соотношении понятий «война» и «враг» / Пер. с нем. Е.А. Росси // Герменей. Журнал философских переводов. 2015. № 1 (7).

Эпплбаум 2015 -- Эпплбаум Э. Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956) / Пер. с англ. Андрея Захарова. М.: Московская школа гражданского просвещения, 2015.